

Болтышев Валерий Александрович

# Тихий Дол



**Валерий Александрович Болтышев**

**Тихий Дол**

Серия «Дача ложных  
указаний», книга 2

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=156901](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=156901)*

# Содержание

Глава первая	4
Глава вторая	18
Конец ознакомительного фрагмента.	27

# Валерий Болтышев

## Тихий дол

### (прошлогдняя хроника)

*Гряди, плешиве!*  
*Четвёртая книга Царств, II, 23*

*Если ты раздвинешь ноги настолько, что убавишься в росте на  $1/14$ , и если ты тогда разведешь руки и поднимешь их так, что коснешься средними пальцами макушки головы, то должен ты знать, что центром круга, описанного концами вытянутых членов, будет пупок...*

*Из анатомических рукописей академии в Венеции*

## Глава первая

И куда бы ни завела железная эта дорога, будь то ночь и дождь, утро ли, будь то зимнее поле без единого следа, сколько ни гляди и ни трать глаза,— но стоит тронуться поезду, как вдоль вагонов побежит человек. В плаще. Или в ватнике, с мешком. Или с двумя детьми и с чемоданом. Он бежит всегда с хвоста к голове поезда, и опытные пассажиры, к тому моменту, как побежит человек, отходят от окна, чтоб не смотреть. Им это надоело, как все железнодорожные при-

надлежности. Некоторые думают, что это какая-то железнодорожная служба. И что этому человеку просто надо вот так вот по-куриному бежать вдоль вагонов с опустелым лицом. А некоторые думают, что это вообще один и тот же человек.

Впрочем, одиночество бегущего за поездом велико, и каждый из них так и считает себя – одним человеком. А во-вторых, большинство бегущих – что, может быть, важней и что делает их похожими – совершенно не хотят бежать и даже ехать в ту сторону, в которую бегут, но бегут, а потом едут, потому что бегут быстро.

Юлий Петрович Щеглов бегать не умел. Открыв зад и задыхаясь, он ненавидел все – цемент, завод, зонт, который забыл, и дождь, который переживал в телефонной будке. Солнце скакало. Лужи лопались. Поезд набирал ход. Щеглов все бесполезней бухал ногами в перрон.

Те, кто смотрел-таки на него из окон, видели грузного мужчину лет сорока с лишним, очень некрасиво бегущего, с портфелем, и, ощущая превосходство от своего стояния у окна, хотели, чтоб он успел. Они не знали, что Юлий Петрович работает в отделе снабжения на крупном предприятии и не любит поездов, а свою работу считает глуповатой, по совести говоря, хотя не выносит разговоров про то, что на Западе, скажем, обходятся абсолютно без всяких снабженцев, и Щеглов, успевший на поезд, останется в тех же обидных ощущениях, как Щеглов, который не успел. Но если бы те, кто был у окна, это знали, они все равно поняли бы бегуще-

го Юлия Петровича, потому что жизнь жизнью, а билет билетом.

– Семнадцать! – крикнул Щеглов и, растопыренно прыгнув, взлетел, как ему показалось, сразу на вторую ступеньку.

– Врач? – спросила проводница.

– Нет, – сказал Щеглов.

– А врач где?

– Не знаю. Место семнадцать.

– Слышала уже, – и проводница, пропустив его, захлопнула дверь, а Юлий Петрович, вынув очки и держа их на манер лорнета, боком отправился на поиски своего семнадцатого.

Коридор был пуст и казался прозрачным. Гораздо позднее – намного позднее – он вспоминал, что вагон, как ни странно, даже понравился, и вопреки обычной дорожной тоске он почувствовал что-то вроде удовольствия оттого, что не опоздал и увидел праздничный ряд занавесок, которые согласно покачивались, и солнечные квадраты на полу. Окна с каплями дождя были умытыми, радио само себе рассказывало о конкурсе скрипачей в Тулузе, и Юлий Петрович даже постоял у одного окна, пощурился на солнышко сквозь тополиную сутолочу, чтоб отдышаться.

День заканчивался. А все остальное только начиналось. Например, начиналось время большой травы, самой разной, с цветочками и без, стелющейся, заплетающейся, стоящей колосками, гущей стеблей, которую можно раздвигать, отыскивая, скажем, стеклянный шарик. Начиналось время насе-

ленных луж и теплой грязи по их берегам, по которой следовало ходить, чтоб она щекотно выдавливалась между пальцами, время сидения в развилке, внутри дерева, громко летящего на ветру, — начиналось лето, как оно на самом деле есть, время, в сущности, безнадежно далекое, но где-то существующее, и от этой уверенности иногда хочется улыбнуться, даже если едешь выколачивать цемент.

Но Юлий Петрович еще не успел подумать о цементе. Когда сзади открылась дверь, он еще думал, что ему хорошо.

— Вы не врач? — спросил женский голос.

— Нет, — ответил Щеглов.

— Извините.

— Пожалуйста.

Дверь закрылась, и он, поглядев на нее сквозь стеклышко, пошел к своему купе. Сзади застонали. Щеглов вздрогнул, послушал. Стон повторился. Он спрятал очки в карман и постучал. Кто-то сказал "войдите", но Щеглову показалось, что это рядом. Он дернул ручку, дверь открылась, и он услышал "добрый вечер", но не изнутри, а опять откуда-то рядом, потому что в купе никого не было.

Юлий Петрович поставил портфель на диванчик. Он не мог носить очки как положено — от очков начиналась какая-то аллергия на носу — поэтому, держа их, как лорнет, он одним глазом оглядел стол, вешалки и верхние полки.

— Сейчас чай будет, — сказали за стеной.

— Хе... — сказал Юлий Петрович. Предчувствие, о котором

потом он любил говорить, появилось тоже потом. Он еще раз взглянул на номер диванчика и сел. Окно справа было розовым, окно слева – синим. Откуда-то долетал прохладный ветерок.. Под потолком звучала скрипка.

Как всякий опытный пассажир, Юлий Петрович мечтал оказаться в пустом купе. Главная часть нелюбви к поездкам происходила как раз из бедламнейшего, на его взгляд, этого родства беременных мужичков в обвислых штанах, начинающегося дурковатым "о, вроде тронулись!" – с толкотней коленками, приглашениями на крутые яйца, с анекдотами про зверей и бессонницей под троекратный храп с перегаром. Огородиться хотя бы книжкой Щеглов не мог – его одноглазый метод чтения даже в мирных условиях требовал твердости духа, – а близорукую полуулыбку каждый трактовал как хотел, и тихого Юлия Петровича брали голыми руками. Но куда противней философствующих алкашиков, фланирующих остроумцев, скусывающих пробки железным ртом, горластых песельников, заигрывающих с проводницами, был сам взятый голыми руками Юлий Петрович, компанейски хохочущий и страдающий от отвращения к себе. Вот почему он затих, оказавшись среди пустых диванов. И вот почему он вздрогнул, когда розовый свет вдруг пропал.

– Добрый вечер, – произнес человек из коридора.

– Здравствуйте, – ответил Щеглов.

– Слава богу. Я боялся, что вы не успеете.

Надо сказать, забегая вперед, что лица его в подробностях



Щеглов так и не увидел, ни сразу, ни после: поначалу пускать в ход лорнет было неловко, а потом – страшно и темно. Поэтому достоверной чертой человека из коридора можно считать только лысину, что выяснилось по прошествии некоторого времени.

– Я... не врач, – на всякий случай сказал Юлий Петрович.

– Ради бога, не беспокойтесь, – сказал человек. – Это пустяки.

– Нет, просто спрашивают все время, – пояснил Щеглов. – Вероятно, кто-то... А вы... тут, значит, едете?

– Да, за стенкой. Только, извините, я должен теперь у вас посидеть.

– Пожалуйста, пожалуйста.

– Спасибо. Только не беспокойтесь. А вот и чай.

– Пожалуйста, пожалуйста, – невпопад повторил Щеглов. Он оглянулся на дверь, но увидел только окно, а в нем небо, уже багровое и опрокинутое, и большое солнце, опасно повисшее на самом краю. Где-то рядом раздался стон.

– Нет, вот чай, – сказал человек, тоже посмотрев на дверь, и откуда-то из-под стола вдруг вынул стакан в подстаканнике. – Я боялся, что вы опоздаете.

– Хе, – опять сказал Юлий Петрович.

– Зато теперь полторы минуты запаса, – человек поставил стакан на стол. – Давайте о чем-нибудь обязательном. Значит, за цементом едете, да? Но ведь два-то вагона – это так, пустяки, правда? Вот если бы пять. Или шесть. Скажите, а

на лапу теперь дают? По-моему, дают. Или нет? В общем, ерунда. Чтоб занять время. Впрочем... Ноги отодвиньте, пожалуйста.

– Что?

– Ноги, – повторил человек. – Я могу вас обрызгать.

– Ноги?

– Да. Скорей.

"Трагедия – то, к чему не готов", – скажет Лукреций Тиходольский. То, что произошло, было так невероятно, что Юлий Петрович, ударившись затылком в сетку для полотенец, не мог поверить, что произошло именно это: сосед с криком "ноги!" левой рукой сильно толкнул его в грудь, а правой сшиб стакан со стола. Не сбил, не свалил, а именно сшиб – отведя для этого руку, раскрыв ладонь и хлестанув наотмашь.

Теннисное это движение было последним, что в подробностях увидел Юлий Петрович, прежде чем надолго остекленеть. Он решил, что потерял сознание. Хотя вероятней, просто закрыл глаза. По крайней мере, он сначала почувствовал и лишь потом убедился, что лежит на спине, держа над головой согнутые как для сидения и обутые в коричневые сандалии ноги, которые качаются от вагонной качки, а сквозь стук колес звучит какой-то странный звук.

Юлий Петрович крадучись опустил руку в карман. И вытянул очки. Сперва он зачем-то долго смотрел туда, где сидел сосед. Потом глянул на дверь, где тоже никого не было, и

на белый стол, где лежал брикетик железнодорожного сахара с паровозом на этикетке. Затем он опустил ноги на противоположный диван и, неслышно приподнявшись, заглянул вниз.

Звучал подстаканник. Он постукивал ручкой о железный порог. На полу дрожала красная от заката лужа. Блестели осколки. Бригадир поезда по радио приглашал медицинских работников в вагон номер пять.

– Вы не ушиблись?

Юлий Петрович вздрогнул и спрятал очки.

– Прошу прощения, но я должен был это сделать,— устало сказал сосед. В руках у него были веник и совок.— А вы должны подумать, что я сумасшедший. Думаете, весело?

Он исчез так быстро, что остекленелый Юлий Петрович потерял его из виду, пока не услышал шкрябанье веника и, украдкой вытащив лорнет, разглядел под собой спину в синем пиджаке.

– А... что там было? – с надеждой спросил он.

– В стакане? Чай,— ответила спина.— Поверьте, я не сумасшедший. Просто я должен был это сделать. Теперь должен подмести. А потом – спать. Понимаете?

"Псих!" – понял Щеглов, отдернув ноги.

– Ну вот, видите... – сосед выглянул из-под стола и вздохнул.— Ну, вот вы едете в командировку, так?

– Так,— быстро согласился Юлий Петрович.— Да.

– Значит, вы знаете, что должны прийти на завод. Должны

получить цемент. Должны загрузить его в вагоны. В два. Так? А потом – вернуться домой. Правильно?

– Конечно, – кивнул Щеглов.

– Ну вот. Я же не считаю вас сумасшедшим, – сказал сосед. За стенкой опять кто-то надсадно застонал.

– То есть вы хотите сказать... – нерешительно произнес Юлий Петрович.

– Именно, – сказал сосед и поднялся. – Я знаю, что должен делать. И вы тоже. И все. А сумасшедший почему-то я...

Юлий Петрович молча поднял веник и молча вышел из купе.

Коридор был пуст. Сумеречный и неживой, он с грохотом и ветром неся куда-то, трепеща занавесками, куда-то вбок, в крен. Луна оборвалась. Пол поплыл. Этого бы хватило, чтоб добить Юлия Петровича, но, к счастью, поворот застал его врасплох. Ударившись опять затылком, а потом локтем, он ухватился за поручень и вспомнил, что идет к проводнику.

В служебном купе горел свет.

– Добрый вечер, – сказал Юлий Петрович. Проводница стояла к нему спиной, то есть – задом, не отвечая и не оборачиваясь, отчего Юлию Петровичу просто необходимо стало увидеть, какую понятную человеческую работу можно делать вот так вот, выпятив понятный человеческий зад. Он вынул очки и с удовольствием проследил, как проводница запихнула в полосатый мешок простыню.

– Добрый вечер,— еще раз сказал он.— Вот это, скажите, у вас брали, да?

– Чего — это? — буркнула проводница.

– Ну... это вот. Веник.

– Положь, где брал. Это вот... Сначала нажрут, а потом — "это вот". Штрафануть бы да посадить, чтоб знали, понимаешь!

– Как посадить? — не понял Щеглов.

– А как есть. Для опохмелки.

– Для...— выговорил Юлий Петрович. Где-то открылась и хлопнула дверь. Он тупо смотрел в лорнет. Проводница трясла мешок за грудки.

– Скажите, а этот... ну, что веник брал,— спросил Щеглов вдруг каким-то прорезающимся голосом,— он что — пил? Да?

– А тебе видней.

"Скоти-ина!" — радостно понял Щеглов.

Дверь своего купе он отшвырнул с треском. Сосед лежал калачиком, лицом к стене. Щеглов включил свет и, по-хозяйски усевшись с лорнетом напротив, брезгливо, но подробно осмотрел круглую пяточного цвета лысину, рубаху и отстегнутые подтяжки, которые свисали на пол, как вожжи. На полу — пятки вместе, носки врозь на радость старшине — стояли югославские туфли, а из них кукишами выглядывали скомканные носки.

"Скотина",— еще раз, но уже ругнулся Юлий Петрович. Обидеться по-настоящему почему-то не получилось, но он

подумал, что это чертовски должно быть обидно, когда в твоём купе, развесив васильковую сбрую, валяется лысый дурак, а ты – нет чтобы вышвырнуть его к чертовой матери, сидишь, как дурак. "Черт побери!" – подумал Юлий Петрович.

Бригадир поезда все еще созывал медработников. А они – по крайней мере, один – уже были здесь: в коридоре происходило какое-то топтание, и уверенный женский голос требовал чего-то немедленно. Это слово падало на прочее бубу-бу весомо, как ладонь на стол – "Немедленно! Вы поняли меня? Не-мед-лен-но!" – и, глядя в лысину, Юлий Петрович позавидовал владельцам уверенных голосов.

– Послушайте, вы, – окликнул он. – Вам не кажется, что вам пора?

– Извините, я должен спать, – глухо ответил сосед.

– Вот как? Очень интересно. И откуда же вы знаете, что должны?

– А вы?

– Я? Ну-ну, – покивал Щеглов, стараясь разозлиться. – Да, а вот что именно должны – спать там или стаканы бить, – это вы как?

– А вы? – повторил сосед.

– Ага. Так вот я вам скажу, что вы должны. Ну-ка вставайте и... и идите. Немедленно.

– Нет, я должен спать. Еще три минуты.

– Ах, вот как? А может, две? – съехидничал Щеглов.

– Нет, три. А потом отстать от поезда.

– Оч-чень приятно! – брякнул Юлий Петрович и еще раз отшвырнул дверь.

Вполне возможно, что это движение было ошибочным. Вполне вероятно, что все могло произойти не так или вообще не произойти. Но, черт знает зачем выскочив в коридорную толчею и наткнувшись на властное "мужчина!", Щеглов ощутил жуткую тяжесть и горячие мокрые подмышки язвенника, который, беременно мыча, давил ему головой в живот, и слепой от крошечной тьмы и страха грохнуть эту голову прямо на железо, он шагнул мимо ступеньки, но устоял подхваченный кем-то из темноты, а потом гремя гравием и выворачивая шею, пятился напролом сквозь какие-то кустарники, и далеко позади едва светилось желтое автомобильное пятно, а властный голос выкрикивал: "Правей, мужчины!", и что-то грохотало и цеплялось за ноги, а язвенник, мыча, бил головой в натянутый живот. Все это – чего могло не быть – продолжалось неимоверно долго и вместе с тем настолько впопыхах, что Юлий Петрович обнаруживал себя лишь моментами, когда приходилось падать или ушибаться. Наконец он заметил, что стоит в желтом свете, брезгливо обтирая потные ладони о штаны. Стучал мотор. Язвенника запихивали в машину.

– Головой вперед, головой! – командовал уверенный голос. – Живей. А вы кто? Жена? Садитесь.

– Ну вот и все, – сказал сосед. Он, тоже трудно дыша, стоял где-то рядом, но Щеглов не знал, где. – Вот и все. Извините,

я не должен был вас предупреждать...

– Товарищи! У кого вторая группа крови?

– У меня! – откликнулся сосед. – Ну? Прощайте?

– Быстрее садитесь! Всем спасибо, товарищи! Поехали.

Мотор взревел. Юлий Петрович увидел, как поднялось желтое облачко, потом сделалось красным, а машина, лапая фарами дорогу впереди, стала двумя рубиновыми огоньками и поплыла в ночь. Это было даже красиво. К тому же, совершивший добро Юлий Петрович ждал чего-то хорошего. Затем он обернулся.

Великолепно черная, непрогляднейшая из ночей стояла кругом. Темнота рождалась у самого зрачка, распыленного впустую, и лилась внутрь, растворяя глядящего в нее, ищущего хоть отзвука, хоть призрака света – так летел над водами и водами одинокий взгляд Ноя, так в бесконечное ничто отлетает осиротевшая душа.

Впрочем, свет был. Справа еще мигал изредка автомобильный огонек. Слева, над тем местом, где совсем недавно новогодней гирляндой светился поезд, висела теперь громадных размеров оранжевая луна. Но этот свет был безнадежнее тьмы. Луна вместо поезда и одиночество в ночи сделали так, что Юлий Петрович Щеглов, близорукий мужчина сорока четырех лет, изо всех сил зажмурился и жалобно, очень по-детски, произнес:

– Ой...

– Ну чего, пошли или чего? – вдруг проворчал кто-то ря-



дом.

– Ой! – еще раз сказал Юлий Петрович. – Вы кто?

– Хрен в пальто, – ответила темнота. – Ну идешь ай нет?

И Щеглов понял, что его толкнули в спину.

## Глава вторая

На железнодорожных картах Тиходольский разъезд именовался Тихий Дол-II, поскольку в двадцати километрах от него был другой Тиходольский разъезд, Тихий Дол-I, хотя на самом деле второй Тиходольский, где оказался Юлий Петрович, с хронологической точки зрения был первым.

Несколько лет назад, когда деления по номерам еще не предвиделось, здесь при станции существовал очень уютный поселочек домов в полсотню, с одноэтажной школой-восемилеткой, двумя прудами и небольшим конезаводом, который тем не менее ежегодно поставлял шестьдесят лошадей в Италию, что сильно удивляло тех, кто об этом узнавал. Как бы скромничая, тиходольцы оговаривались, что, во-первых, итальянцы покупают лошадей на мясо, во-вторых, контракт старый, еще хрущевский, а в-третьих, конезавод только откармливает жеребят, а закупают их по соседним колхозам. Но проезжающие продолжали хмыкать, и поэтому просто не успевали рассмотреть ни глазастых домиков, рассыпанных по кособокому среди густо-зеленых яблоневых садов, ни большого, как аэродром, Каткина луга, занятого солнцем и жеребятами, ни голубенькой Долины с ее прудами – все это, отороченное лесом с трех сторон, лежало на виду, как в горсти, но проезжающие спешили рассказать соседям про дураков-итальянцев, которые жрут тьмутараканскую конятину, и

оборачивались к окну, когда разъезд был уже прошлым.

Что же касается тиходольцев, то Италия играла в их жизни такую же незначительную роль, как конезавод, потому что большинство работало сцепщиками, стрелочниками, обходчиками – то есть так или иначе большинство, а значит, и жизнь – были связаны с железной дорогой, а разъезд в то время был сравнительно крупным железнодорожным узлом.

Собственно говоря, мелким его никто и не помнил. Даже придорожные старцы, стрелочники гостомысловских времен, и те вспоминали уже не строительство, а все больше переделки, перегибы да прежних инженеров – в кожанках от НКПС и в шинельках от Викжеля, понапластавших тут десятка полтора тупиковых путей. В общем, старцы считали, что разъезд был давно. А люд поновей, занятый сцепкой и обходом, а на худой конец стоявший с ружьем у деповских ворот, довольствовался собственными ощущениями, и потому знал, что разъезд был всегда. И только когда случалась на дороге угольная, скажем, нехватка или просто праздник, и повисала над Тихим Долом неприкаянная тишина, мужики, стыдясь своей задумчивости, и как бы ненароком сбредались на дальний холм к деду Культе.

Этот дед, который сидел на этом холме, глубиной древности, как принято было предполагать, превосходил даже разъезд – по крайней мере, никто больше из тиходольских стариков не знал и не помнил изобретателя паровоза, – и в воспоминаниях долгожителей дед сидел на холме возле путей уже

к началу воспоминаний, хотя сам Культя (аж до прозвища) любил надоедать рассказом, как был сослан на разъезд при культе личности, а разрешение глядеть в сторону железной дороги получил только в 54-м году. Другой радостный разговор, который приходилось терпеть тиходольцам, дед вел шепотом, поскольку дело касалось государственного секрета, раскрытого им с холма: каждый третий эшелон, влетев в исторически сложившуюся путаницу и переплетение разъездных стрелок, математически точно раздваивался, то есть прямо вот так: пришел один, ушло два. "Цифра для прессы, милостивые государи! Да-да-да! Официальные двести пятьдесят миллионов – не более чем цифра для прессы! Легенда сокрытия! Боже мой!"

– Че-а?

– Ну... это. Ста-лоть, куды как больше, выходит, нас-то, ежели, ста-лоть, взаправду!

– А-а...

– Ну. А выходит – тайна.

– Вона... А чего так?

– Ну... потому – стратегия. От врагов.

И только растративши этот бред, Культя выговаривал слова, за которыми шли к нему тиходольцы в трудные минуты праздности. По-стариковски слезливо глядя вдаль, он сообщал, что все, видать, так и надо, и все к лучшему, и что железнодорожный разъезд – все равно как партийный съезд – есть связующий узел на главной магистрали, а потому не

только был, но и будет всегда.

Наконец однажды в субботу он вдруг упал и нехорошо за-  
тих, чем сильно удивил весь поселок. Дело в том, что среди  
тиходольцев было принято погибать, причем погибать на по-  
сту. Тела увозили на экспертизу в город с последующей кре-  
мацией, и кладбища – за неимением надобности, – а также  
похоронных навыков на разъезде не имелось. Деда Культу,  
упавшего возле почты, закопали в молодом осиннике за по-  
селком, на всякий случай и от самых скверных предчувствий  
навалив сверху курган. А через два дня где-то очень далеко  
от Тихого Дола – еще, пожалуй, дальше, чем в Италии, – бы-  
ло принято решение построить новомощный мост через До-  
линку на двадцать верст южнее.

Ветку спрямили, новый разъезд у нового моста назвали,  
чтоб не выдумывать, Тиходольским, а прежний, чтоб обо-  
значить – вторым и как бы запасным, и тиходольцы на соб-  
ственной шкуре почувствовали, как эфемерна жизнь при же-  
лезной этой дороге. Многие из них так и остались тиходоль-  
цами, переехав в новый Тихий Дол. Меньшая часть, связан-  
ная с лошадьми и Италией, перебралась за девять километ-  
ров в деревеньку Козлово, забрав с собой только домашнюю  
утварь, поскольку вновь организованный козловский плем-  
совхоз, которому была поручена ответственность перед за-  
граничными коневодами, строился вовсю. (Кстати, там, в Коз-  
лово и была проведена уникальная, как писала "Козловская  
правда", операция по поводу прободной язвы – с примене-

нием прямого переливания крови и, практически, голыми руками в виду запертого на ночь инструмента.)

Запасной же разъезд попросту вымер. Дома ветшали, выказывая ребра стропил. Улицы сперва робко, а потом совсем по-лесному зазеленели травой, а из темных садов сплошным подлеском расползлась малина. Пруды ушли. Долинка заросла и потерялась в камышах.

Рушилась и станция: чаще почему-то утром, на рассвете, раздавался вдруг скрип, похожий на стон, и падала со складской крыши доска или заваливалась стена в мастерской, или рассыпалось уцелевшее где по случайности окошко. Станция рушилась легко и даже как-то с желанием. Постройки глядели пустыми глазницами, груды развалин глотала крапива с лебедой. Зато на самих путях так дружно и радостно взялся клевер, что рельсы исчезли уже на второй год, а ржавые стрелки торчали там-сям, как памятник дураку, который зачем-то понатыкал их среди клеверного поля. Особенно красиво здесь было в солнечный день, когда по стрелкам сидели скворцы, над цветочной роскошью мельтешили бабочки, и вся долина от края до края исходила таким пчелиным гудом, что старик Селиванов, по первости обломав на рельсах две литовки, грохнул пасеку аж на сорок две семьи.

Конечно, Юлий Петрович не мог увидеть все это сразу. Стояла ночь, и хотя он надел очки, подложив на нос какой-то листик, ему был виден только старенький керосиновый фонарь и бок старика Селиванова, который сурово ша-

гал сквозь темноту. Кроме того, от долгой ходьбы гуськом Юлием Петровичем овладела покорность, он целиком отдался созерцанию фонаря, как верблюд, бредущий в караване, отдается побрякиванию собственного колокольчика. Он слишком устал переживать. Вдобавок было непонятно, нужно ли. Старик молчал. Поезд ушел. В портфеле, что остался в поезде, была только семирублевая механическая бритва да кое-какая туалетная ерунда. Поэтому, когда впереди забрезжил еще какой-то свет, Юлий Петрович равнодушно отметил сиротскую лампочку над вывеской, крыльцо с двумя вазонами и произрастающие вокруг фасада кусты, а затем оказался в большом темном помещении, которое, когда Селиванов нашарил выключатель, стало кассовым залом.

– Тут погоди, – буркнул старик. Он задул фонарь и скрылся за дверью, на которой была табличка "Диспетчер". Через некоторое время оттуда донеслось: "Двадцать седьмой! Двадцать седьмой, алле! У, чтоб тебя, зараза!.. Двадцать седьмой!" А Юлий Петрович, поправив лист на переносице, принялся за осмотр.

Зал был средних размеров, каким положено быть залам на среднего размера станциях – с кафельным желто-коричневым полом, не очень высоким потолком, белеными стенами и двумя окнами по обе стороны от двери. У одного окна – правого – и вдоль всей правой стены тянулась поленница березовых дров и стояли четыре одинаковых бочки, от которых пахло солеными огурцами. Прямо напротив входа про-

глядывалась лестница, которая вела, судя по всему, на второй, неизвестно для чего выстроенный, этаж. На лестнице не было ничего, кроме красного пожарного ведра. Зато левая сторона зала была заполнена густо.

Из прежней обстановки здесь остался фанерный диван с инвентарным номером на спинке и надписью "Петруха – летающий дрын", сделанной ножом или гвоздем, а также два маленьких, заколоченных изнутри, кассовых окошечка. Над окошками на гвоздях висели несколько пучков зверобоя, два брезентовых дождевика с капюшонами, конская сбруя (кожаная, в медных заклепках и совершенно новая), коса, одноствольное ружье большого калибра, связка лука в капроновом чулке и красно-белый пробковый круг с теплохода "Енисей" Бельского речного пароходства. Юлий Петрович постукал в круг ногтем, и из коридора высунулась рыжая физиономия.

– Здравсьте,– сказал Щеглов.

– Привет,– ответила физиономия, весело оглядев его.– Отстали, да? Ничего, счас чай будем пить.

– Кто будет-то, кто будет! Обтрясок! – крикнул из диспетчерской старик Селиванов.– Ишь, повылазили... Ну-ка, геть!

– Ничего,– подмигнула физиономия.– Дедушка у нас добрый. Дедушка меду даст!

– Я те дам! Я те дам, змеюка!

– И пряников. Сла-адких! Он их третьего дня привез и в



комод запер, а Степка видал...

– У ты, змей! – затопал Селиванов, и физиономия скрылась. Но ненадолго. Когда, расположив Юлия Петровича в бывшей кассе, старик Селиванов поставил на стол самовар, Васька – так звали обладателя рыжей физиономии, – подмигивая и улыбаясь, появился опять, а за ним скользнула еще одна личность, круглолицый босой брюнет лет двадцати, и тоже бесшумно устроилась за столом. "Племяши мои, – объяснил Селиванов, угрюмо зыркнув на обоих. – Студенты. На каникулах". Юлия Петровича понемногу начинал беспокоить его разбойничий вид, а главное – откровенная суровость, которую старик не пытался скрыть, поэтому он был даже рад появившимся, хотя и не без некоторого сомнения. Он, например, не мог понять, почему Васька продолжает подмигивать и тыркать его ногой под столом, и почему второй племяш только медово щурится на все попытки с ним заговорить (на самом деле он был кореец, и по-русски не понимал ни слова, звали его Пак, а Селиванов называл Степкой и обтряском) и как ему удастся, улыбаясь, жевать с такой нечеловеческой почти скоростью. Правда, рыжий Васька мало чем уступал Степке. На столе действительно были мед и пряники, и он, не переставая мурлыкать про то, какой дедушка добрый, орудовал ложкой, как кочегар лопатой.

– У дедушки еще коза есть. Молочная. Молока дает – страсть! Хотите покажу?

– Зачем, я верю.

– А то покажу. Для интереса, – подмигивал Васька. – А молоко какое жирное – вообще!

– Нет-нет, спасибо, я...

– Ну а коль спасибо, так на здоровье, – мрачно перебил Селиванов. – Бог наплатил – никто не видал. Ты, парень, отлепись от человека, ему завтра в четыре часа вставать. Омский обещали заворотить, – кивнул он Юлию Петровичу, постаравшись улыбнуться. – А Васька кровать покажет. Слышь, обтрясок? Гляди у меня, слышь!

– Слышу, чего, – сказал Васька.

– Спасибо, – сказал Юлий Петрович.

– Дак уж говорил...

Выходя из-за стола, Щеглов заметил, как Степка, неуловимым кошачьим движением выхватив из вазочки пряник, сунул его за пазуху.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.